

RU

Художественная рецепция Японии и японцев в прозе дальневосточной эмиграции 1920-40-х гг.

Ван Юйци

Аннотация. Статья представляет результаты исследования художественной рецепции образов восприятия Японии и японцев в прозе дальневосточной эмиграции 1920-40-х гг. Цель исследования – в контексте социально-политической, культурно-исторической, этнопсихологической ситуации японского присутствия в Харбине 1920-40-х гг. выявить основные направления художественной рецепции образов восприятия Японии и японцев в прозе дальневосточной эмиграции с точки зрения идейно-тематического и жанрово-стилистического наполнения произведений. Научная новизна – во введении в научный оборот ранее неисследованных текстов, отражающих своеобразие художественной рецепции Японии, японцев, представлений о «японскости» в сознании дальневосточной эмиграции; в исследовании поэтики «японских текстов» дальневосточных прозаиков сквозь призму «мифа о Японии», закрепившегося в русской культуре начала века; в уточнении имагологической парадигмы исследования образов восприятия инокультуры с опорой на общественно-политический, социо- и этнокультурный контекст жизни русских беженцев в Китае в 1920-40-е гг. Полученные результаты показали, что наиболее продуктивным периодом рецепции Японии и японцев в прозе дальневосточной эмиграции становятся 1920-1932 гг., когда японское присутствие в культурной и бытовой жизни Харбина было подспудным и продуцировало интерес к постижению японской этнической традиции, верований и бытовых реалий. Последующее давление социально-политического заказа периода Маньчжоу-го приводит к деградации имагологического интереса к Японии и японской культуре в прозе дальневосточной эмиграции.

EN

Literary reception of Japan and the Japanese in the prose of the Far Eastern émigré community in the 1920s-40s

Yuqi Wang

Abstract. The paper presents the results of a study of the literary reception of images of perception of Japan and the Japanese in the prose of the Far Eastern émigré community in the 1920s-40s. The aim of the study is, in the context of the socio-political, cultural-historical, and ethno-psychological situation of the Japanese presence in Harbin in the 1920s-40s, to identify the main directions of the literary reception of images of perception of Japan and the Japanese in the prose of the Far Eastern émigré community taking into account the ideological-thematic and genre-stylistic content of the works. Scientific novelty lies in introducing into scientific use previously unexplored texts reflecting the originality of the literary reception of Japan, the Japanese, and ideas about “Japaneseness” in the consciousness of the Far Eastern émigré community; in examining the poetics of “Japanese texts” of Far Eastern prose writers through the prism of the “myth of Japan” enshrined in Russian culture at the beginning of the century; in clarifying the imagological paradigm of the study of images of foreign culture perception, based on the socio-political, socio- and ethno-cultural context of the life of Russian refugees in China in the 1920s-40s. The results showed that the most productive period for the reception of Japan and the Japanese in the prose of the Far Eastern émigré community was 1920-1932, when the Japanese presence in the cultural and everyday life of Harbin was latent and produced an interest in understanding the Japanese ethnic tradition, beliefs, and everyday realities. The subsequent pressure of the socio-political demand of the Manchukuo period leads to the degradation of imagological interest in Japan and Japanese culture in the prose of the Far Eastern émigré community.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена интересом современного гуманитарного знания (этнографии, антропологии, истории, религиоведения, фольклористики) к образам восприятия инокультуры.

Как фиксируют писатели процесс и результаты восприятия тех или иных этносов в начале межкультурных контактов; какие этнопсихологические, этнорелигиозные, этносоциальные факторы определяют те или иные авторские фреймы восприятия; какие специфические художественные приемы используют авторы определенной исторической эпохи для их запечатления; как и под воздействием каких обстоятельств меняются художественные образы восприятия «чужого» в литературе того или иного этноса? Одним из «моментов истины» в познании инокультуры и взаимопознания этносами друг друга становятся кризисные ситуации – периоды общественно-политических сломов, приводящих к вынужденным тесным этнокультурным контактам (Забияко, Сенина, 2025). В подобном проблемном поле одним из наиболее дискуссионных объектов исследования представляется художественная рецепция Японии и японцев в русской литературе середины XIX – первой половины XX в. Можно выделить несколько точек взаимодействия русских и японцев, приведших к интенсивной рефлексии писателей и поэтов: начальный период «открытия» Японии в русской научной мысли и литературе середины XIX в.; русско-японская война (1903-1904) и связанные с ее событиями взаимопротиворечащие друг другу произведения русских писателей, обращенные к Японии и японцам (И. И. Митропольский, В. В. Вересаев, А. И. Куприн и др.) (Забияко, Ван Юйци, 2022, с. 19-28). Следующим этапом пристального внимания и взаимного постижения русских и японцев становятся годы нарастания японского милитаризма, захват Японией Северо-Востока Китая, приведший к напряжению на советско-китайской границе (1931-1945). В советской литературе это привело к появлению очень ярких произведений военных переводчиков и публицистов (Лапин, Хащевин и др.).

В эти годы в жизни русского Харбина Япония и японцы становятся такой же суровой реальностью, что и для поработанного ими Китая и китайцев. В 1932 г. образуется марионеточное государство Маньчжоу-го, которое существует под исключительным протекторатом Японии. Создается прояпонское Бюро по делам русских эмигрантов, регламентирующее самые разные сферы жизни. Японцы контролируют все – начиная от начального образования и заканчивая духовной жизнью (Лалетина, 2016; Забияко, Ван Юйци, 2024, с. 62-78). О страшных зверствах японцев по отношению к китайцам, с которыми русские до этого жили дружно и мирно, свидетельствует уже факт существования отряда 731 – его жертвами, кстати, становились не только несчастные китайцы, но и многие русские жители Северной Маньчжурии (Пермяков, 2004).

Для достижения вышеуказанной цели необходимо было решить следующие задачи:

- выявить максимально полный объем прозаических текстов писателей дальневосточной эмиграции, в которых находит отражение образ восприятия Японии и японцев;
- определить, какие экстралитературные факторы (личная биография, опыт политической, научной деятельности / предшествующего общения с инокультурой и т. д.) повлияли на рецепцию Японии и японцев в творчестве отдельных авторов;
- выявить идейно-тематическое и жанрово-стилистическое своеобразие прозаических произведений, посвященных художественной рецепции Японии и японцев.

Ключевыми методами стали: культурно-исторический, при помощи которого был выявлен контекст формирования образов восприятия Японии и японцев в сознании дальневосточной эмиграции; сравнительно-исторический, на основе которого был реконструирован процесс трансформации образов Японии и японцев в сознании русских эмигрантов в соотнесении с эпохой серебряного века; сравнительно-типологический, на основе которого были выявлены основные фреймы литературной рецепции образа Японии и японцев в прозе дальневосточных авторов 1920-40-х гг.

Материалом для исследования послужили воспоминания, публицистические статьи, политические декларации дальневосточных эмигрантов; лирические и прозаические произведения харбинских авторов, обращенные к рецепции Японии и японцев.

Теоретическую базу исследования определила концепция дальневосточного фронта (порубежья) (Забияко, 2016, с. 5-10) и порождаемой фронтными обстоятельствами ментальности дальневосточного фронта (Забияко, 2016), отраженной в особой образно-тематической и жанрово-стилистической системе художественных произведений.

Культурно-исторический контекст познания русскими Японии и японской культуры воссоздается на основе работ М. И. Венюкова (1871), А. Е. Воейкова (1878), А. Н. Краснова (1897-1898), Г. де Воллан (1903), «Япония и ее обитатели» (1904), Анучин (1907).

Исследование образов восприятия опирается на теорию художественного образа (Эпштейн, 1987, с. 252-257; Роднянская, 2001, с. 669-674), развитую в имагологической концепции «культурного образа» и художественного образа восприятия (Pageaux, 1981; Луков, 2012; Забияко, Сенина, 2025). Образы восприятия «чужого» в сознании дальневосточной эмиграции исследуются с опорой на работы А. П. Забияко (2003), В. В. Агеносова (1998; 2006), Г. В. Эфендиевой (2011), А. А. Забияко (2016). Типологическую модель исследования образа восприятия Японии и японцев (на материале творчества дальневосточного писателя Венедикта Марта) автор соотносит с работами К. А. Землянской (2024, с. 59-66).

Сравнительно-типологическое понимание истории формирования образа Японии и японцев в русской культуре и литературе прослеживается с опорой на работы В. М. Алпатова (2017), В. Э. Молодякова (1996).

Японское присутствие в культуре Харбина реконструируется на основе работ Н. Е. Абловой (2005), Г. В. Мелихова (2003; 2009, с. 65-67); воспоминаний Г. Г. Пермякова (2003; 2004), Н. Н. Лалетиной (2016); библиографических указателей Патриции Полански (2002). Научный востоковедческий контекст воссоздается на основе исторических работ А. А. Хисамутдинова (2018).

Практическая значимость работы предполагает дальнейшее использование материалов в лекционных курсах по истории русской литературы, спецсеминарах по литературе дальневосточного зарубежья, спецкурсах

по проблемам межнациональных и межэтнических отношений; в дальнейшем исследовании культурного и литературного феномена дальневосточного зарубежья; в возможном продолжении исследования в сравнительно-типологическом ключе (к примеру, изучения образа восприятия Японии и японцев в советской и эмигрантской литературе 1920-40-х гг., в литературе дальневосточных эмигрантов и китайских авторов Северо-Востока в указанный период) и т. д.

Обсуждение и результаты

Геополитическая, этнокультурная и этносоциальная специфика Харбина первой половины XX в. способствовала тому, что образ восприятия Японии и японцев в культурном сознании его жителей парадоксально вместил все противоречия в отношении Страны восходящего солнца дореволюционной России (последствия недальновидной политики царского правительства; мифологизацию Японии и японцев в литературных кругах; последующее послевоенное разочарование в клишированном подходе к рецепции образа Японии) (Забияко, Ван Юйци, 2022, с. 19-27), собственный опыт общения с японцами на владивостокских, благовещенских, хабаровских и затем харбинских улицах, личных поездок в Японию, опыт военных действий 1904-1905 гг.

Русско-японская война грянула спустя 5 лет после зарождения Харбина в центре болотистых равнин Маньчжурии. Харбин оказался в эпицентре военных событий – в нем располагались военные госпитали, в этом городе отдохнувшие после боев военные проводили отпуск перед новой отправкой на фронт. Казалось бы, близость к линии фронта, личное участие многих харбинцев в военных действиях должны были изменить вскормленное эпохой серебряного века восторженное отношение харбинцев к «волшебной Японии». Но этого не произошло – во-первых, как пишет Дэвид Вольф, «война оставила глубокий пацифистский след на лице города» (Wolff, Kotkin, 1995, p. 21). Кроме того, «документально засвидетельствованная безжалостность японцев к мирному населению, проявившаяся в годы Русско-японской войны, затмила перед глазами харбинского обывателя гуманным отношениям к русским военнопленным и их семьям на острове Сикоку» (Гончаренко, 2009, с. 69).

В 1908 г. в Харбине учреждается Общество русских ориенталистов (ОРО). В его печатном органе, журнале «Вестник Азии», почти в каждом номере публикуются статьи о Японии и японцах, переводы произведений японского фольклора и т. д. Несмотря на серьезные публикации дальневосточных востоковедов, прошедших фронты бесславной Русско-японской войны (Шкуркин, 1915, с. 170-192; 1916, с. 34-38), лично побывавших в Японии (Вонсович, 1916, с. 39-43; Мацокин, 1913, с. 68-69; 1914, с. 70-72), весьма трезво и объективно оценивающих особенности этнического характера японцев, исследовавших его культурно-исторические и религиозные основы (Суемацу, 1914, с. 19-22;), обыденное сознание русских харбинцев предпочитало пребывать в иллюзиях относительно образа японцев и Японии. «Русские люди на Дальнем Востоке, в том числе и жители Харбина, с неизменным интересом и уважением относились к Японии, восхищаясь приветливым и трудолюбивым южным соседом и его аскетичным и глубокомысленным укладом жизни» (Гончаренко, 2009, с. 172). В городе процветали японские фирмы, работали японские фотомастерские и магазины и т. д.

В 1920-е гг. население Харбина насчитывает уже около 35 национальностей, а влияние Японии и японской культуры только усиливается (Мелихов, 2003, с. 219). К тому времени харбинцы пережили реальную угрозу захвата японцами Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), ставшей следствием японской оккупации российского Дальнего Востока и экспансионистских планов США и Японии (Аблова, 2005, с. 95-98). Но харбинские обыватели продолжают существовать, как будто и не было этих тревожных событий, не было зверств японцев в период их дальневосточного пришествия на русский Дальний Восток (Землянская, 2024). «Медоточивые уста дипломатов и коммерсантов, случившихся быть в Стране восходящего солнца по делам, без устали распространяли преувеличенные и идиллические истории, невероятно далекие от истинного положения вещей. Харбинской интеллигенции в мирных беседах за самоваром на прохладной вечерней веранде с видом на закат зачастую представлялась Япония в дымке цветущей вишни и белизны сверкающей вершины Фудзиямы. Филигранные веера японской работы, шкатулки и безделушки, временами появлявшиеся в продаже в харбинских лавках, вызывали в неискушенном человеке неизменное умиление трудолюбием японских мастеров и точностью исполнения самых мельчайших деталей» (Гончаренко, 2009, с. 172).

Контент-анализ прозы дальневосточной эмиграции 1920-1940-х гг. позволил выявить в публикациях «Рубежа» (Тема Японии...), авторских сборниках и других изданиях всего несколько произведений, обращенных к образу восприятия Японии и японцев: М. В. Щербаков (2013) «Иринари» (1923, сб. «Корень жизни», 1943), Я. Л. Лович (2013) «Покорность. Рассказ о женщине в вишневом кимоно» («Рубеж», 1930, № 46), А. И. Несмелов (2006) «Поручик Тахакаси» («Луч Азии», 1938, № 5), Н. А. Байков (1939) «Самурай» (сб. «У костра», Тяньцзинь, 1939), Ф. Ф. Даниленко (1942) «Завещание лейтенанта» (Харбин, 1942).

Эти произведения написаны практически самыми востребованными и популярными авторами дальневосточного зарубежья, что весьма показательно. На наш взгляд, эти тексты по-своему отражают интерес русских к Японии и японцам и стремление запечатлеть этот образ в прозаическом слове, а также являются маркерами смены этнопсихологических и этнокультурных установок дальневосточных эмигрантов по отношению к Японии и японцам сквозь призму развития социально-политической ситуации, связанной с нарастанием японского присутствия, политического диктата в продвижении идей Маньчжоу-го.

Период 1920 – начала 1930-х гг. можно рассматривать в контексте прощания культуры дальневосточной эмиграции с уже анахронистическим для них мифом о «живописной Японии» (Молодяков, 1996) и подспудным

ощущением наступления иных реалий в русско-японских контактах. Эти тревоги будут прочувствованы исключительно на этнорелигиозной и этнопсихологической основе.

Новелла «Иринари» была написана Михаилом Васильевичем Щербаковым (1891-1956) в 1923 г., судя по авторской помете в сборнике «Корень жизни» (1943). Анализ этой новеллы с разных ракурсов представлен в исследованиях А. А. Забияко (2016, с. 308-320), Е. О. Кирилловой (2018, с. 78-88).

Нас в данном случае интересует, как индивидуальный образ восприятия Японии и японцев, основанный на личных впечатлениях М. Щербакова, воплощается писателем в художественном тексте. Япония Щербакова – условна и импрессионистична: в экспозиции рассказа она обозначена одной лишь деталью – упоминанием *хибахи* (миниатюрной японской печи), возле которой греет ноги «молоденькая Камитаи Сан и мурлычет высоким женским фальцетом свою заунывную японскую песенку» (Щербаков, 2013, с. 283).

Целая страна и ее культура уместились автором в сувенирном магазинчике с европейским названием «Бостон». Туда любит заходить рассказчик, очевидно, русский, и рыться «во всяких яшмовых божках, аметистовых печатках, старинных эфесах для мечей и лаковых коробочках, – словом, во всем том, чем торговал Петр Фаддеич и что для краткости называл “барахлом”» (Щербаков, 2013, с. 283). А для главного персонажа Петра Фаддеича страна воплотилась в одном-единственном «чужом божке» – фигурке лисицы Иринари (яп. 稲荷, др.-япон., возможно от Инанари, где элемент «ина» или «ин» означает «рис на корню», а «нари» – «рождение», «появление на свет»; в японской мифологии божество пищи, «пяти злаков», лис, промышленно-сти, житейского успеха) (Мифы народов мира, 1991, с. 511). В Иокогаме есть специальный отдельный храм, посвященный этому божеству. И практически в каждом синтоистском храме есть уголок, где можно почтить этого божка в миниатюрном варианте.

Фигурка лисы-иринари – навязчивый образ, преследующий русского героя, Петра Фаддеича, в наказание за то, что в одной из деревень под Иокогамой незадачливый бывший капитан дальнего плавания украл лисью фигурку из храма. Причем кража эта вышла спонтанно, на пари.

В системе персонажей рассказа в роли трикстера, провоцирующего русского путешественника на святотатство, выступает англичанин. Именно он инспирирует кражу божка на спор, апеллируя к истинности православной веры Петра Фаддеича. Избегающий морализаторства, М. Щербаков подводит читателя к мысли о том, что негоже русскому идти на поводу у иноверцев и уж тем более негоже прикасаться к «чужим богам» – от этой «нечисти» не придется ждать добра (Забияко, 2016, с. 318).

Композиционным приемом, выражающим авторскую точку зрения и точку зрения персонажа на образ Японии, становятся диалогические формы речи и повествование от лица рассказчика, придающее рассказу достоверность. Все эти приемы найдут продолжение в рассказе автора совсем другого толка, появившемся спустя 6 лет.

Рассказ «Покорность» Якова Ловича (Дейча) (1896-1956) с подзаголовком «Рассказ о женщине в вишневом кино» был опубликован в журнале «Рубеж» в 1929 г. (№ 46). Автор только что вернулся из Японии, прожив год в Иокогаме – портовом городе, с конца XIX в. превратившемся в центр международной торговли, сосредоточившем в европейском районе Каннай дипломатические миссии и торговые представительства самых разных стран. Содержание «Покорности» отражает любопытный этап становления образа восприятия Японии и японцев в сознании дальневосточной эмиграции: с одной стороны, это возможность приобщиться к европейской литературной традиции, с другой – отразить собственный продолжительный опыт общения с японцами и японской культурой.

Интродукция рассказа одновременно совмещает в себе завязку и экспозицию (именно в такой последовательности): рассказчик впервые видит свою будущую возлюбленную-японку, читателю дается описание места встречи и дальнейшего развития действия – Иокогама и гавань, а вслед за этим «пересказываются» предшествующие и происходящие в момент этой встречи диалоги рассказчика со своим американским визави (м-ром Стеффеном) по поводу женской красоты, в первую очередь красоты «белых женщин» и японок. Это светские разговоры двух мужчин, имеющих много досужего времени, не обремененных материально, кроме того, мужчин-европейцев, находящихся в чужой азиатской стране.

Сам принцип композиции отсылает читательское сознание к роману Пьера Лоти «Госпожа Хризантема» (1887 г.) – в определенном смысле матрице европейской прозы о Японии и японцах конца XIX – начала XX в. Кстати, сам автор этого не скрывает, в одной из реплик напрямую указывая на своих предшественников: «Я думал, что японки Клода Фаррера и Пьера Лоти ушли в историю» (Лович, 2013, с. 21) (как известно, Клод Фаррер был другом и последователем Лоти, автором романа о Японии «Душа Востока», 1909).

Сознательно или нет, Лович следует схеме персонажной композиции у Лоти (рассказчик, его европейский визави, японская девушка), так или иначе воспроизводит уже апробированные приемы описания японки (прическа, костюм, походка), ее сравнения с кошкой и т. д.

Однако хронологическая дистанция, определяющая время написания рассказов, и разница в видении европейцем Японии очевидны. Образ Иокогамы, рисуемый Ловичем в нескольких строках, говорит о том, что перед нами страна, далекая от мифологических представлений о ней, страна, стремительно развивающаяся, открытая взаимодействию с другими государствами.

Очевидно, что в системе персонажей американец м-р Стеффен выступает одновременно трикстером и резонером. Именно он провоцирует героя-рассказчика на интерес к японкам своими этническими характеристиками и риторическими фигурами речи и именно он высказывает те стереотипные представления о японской женщине, что лежат в основе мифа о «живописной Японии» и «Японии – стране гейш». Споры о том, «кто интереснее»,

в диалоге двух этих «знатоков» касаются, в первую очередь, внешних признаков. Рассказчик трезво оценивает характер этих споров: «Мы сбивались с языка красок и поэзии на язык вульгарный и циничный. Мы расценивали и разбирали женщин, как лошадей. Мы торговались, как барышники на ярмарке» (Лович, 2013, с. 16).

Очевидно, что в этих диалогах иронически воссоздаются гендерные этнические стереотипы, касающиеся не просто восприятия «чужого», но гендерно «чужого» и конкретно – «японского чужого»; «европоцентристская» и «восточная» точка зрения на японскую красоту, базирующаяся на клише французских колониальных романов (Молодяков, 1996) и базовой оппозиции «мужского» и «женского» (Эфендиева, 2006, с. 52-67).

Примечательно, что у Ловича мнимый диалог двух точек зрения европейского воспринимающего сознания («европеизма» и «япониизма») заканчивается победой «япониизма» («джапониизма») (Молодяков, 1996). Японизм персонажа иррационален и строится исключительно на внешних признаках «женщины в вишневом кимоно»: «Такой женщины я еще никогда не видел. Такой изящной, такой грациозной, такой воздушно-легкой, такой благородно-нежной, такой прелестной! Боже мой! Когда ее вишневое кимоно медленно, с божественной грацией движется мимо меня, тогда словно улыбаются море и небо, нежнее становится ветер, ярче переливается изумруд воды, белее пена у берега, крепче любовь к жизни, вкуснее соленый воздух.

И когда я слышал мелодию ее голоса, короткие фразы, которые она пела – да, да, именно, пела! – отвечая своему отцу (мы узнали, что старик – ее отец), то я чувствовал, что сердце сжимается у меня больно и сладко, точно в предчувствии любви, точно готовое сгореть в пламени, точно согласное умереть, разорваться, – лишь бы прижать к себе это вишневое кимоно» (Лович, 2013, с. 16-17).

Перед нами словно вербализованная в фонических, зрительных, пластических образах символика первой части европейского «японского мифа» о «красочной Японии»: «о веерах, цветах сакуры и красавицах с гравюр Утамаро» (Молодяков, 1996, с. 33). Кстати, именно Утамаро и создал обобщенный образ японки-биджин на своих бидзин окубе-э (биджин, биджин – синоним слову *бидзё* (美女, «красивая женщина»). Первоначальная условность образа возлюбленной для героя-рассказчика подчеркивается постоянным перифрастическим либо вообще метонимизированным ее названием: «Пока не появлялось на террасе *вишневого кимоно*, я с пеною у рта доказывал, что японки не могут претендовать на мое внимание: они мертвы, у них – короткие ноги и длинное туловище, они все без исключения брюнетки, мне не нравится их походка и т. п., и т. п.

Но стоило *вишневому кимоно* появиться на террасе отеля – и я замолкал» (Лович, 2013, с. 16). В художественном тексте из 6 страниц образ «вишневого кимоно» встречается 16 раз.

Внешние пересечения с романом Пьера Лоти постепенно дезавуируются развитием действия рассказа и заканчиваются его кульминацией: не безымянный герой-европеец оставляет свою возлюбленную, а японка Миури-сан, совсем не чуждая внешним европейским веяниям и даже живущая в европейском квартале, отвергает европейца.

Роль функциональной детали, затем обретшей роль *deus ex machine* (Бога из машины), снова выполняет японский божок – очевидно, это *дзидзо* (яп. 地藏, любимое божество японцев, покровитель детей и путешественников), стоящий у порога дома Миури-сан: «Она звякнула медной ручкой калитки и, не глядя на меня, опустив голову, скользнула за ограду. Калитка звякнула снова. Насмешливо улыбалось лицо какого-то божка, искусно вырезанного на косяке калитки» (Лович, 2013, с. 18). Герой-рассказчик не знаком с мифологической функцией божества и сам чужд всему внутреннему миру «женщины в вишневом кимоно», потому насмешка божества служит ему дурным предзнаменованием.

Как следует из весьма динамичного развития действия, эти два человека – несовместимы. Все реплики героя, обращенные к Миури-сан, подтверждают, что им не о чем разговаривать, героем руководит одно лишь влечение: «Я смотрел на нежно-розовое прелестное личико, на темные глаза, опущенные изогнутыми стрелами ресниц, на алый рот и влажный перламутровый ряд зубов. И думал, что *если я и не найду, о чем говорить с ней, и прилипнет мой язык к гортани, то совсем не потому, что я несвободно говорю по-японски*» (Лович, 2013, с. 19).

В отличие от героя П. Лоти, который тяготеет экзотикой и традиционностью японской действительности, воплощением которых является его временная жена госпожа Хризантема, герой Ловича, напротив, очарован естественностью своей «японки в вишневом кимоно». Весь японский мир со своим искусственным пейзажем претит ему, но Миури-сан, словно воплощая собой внеэтническую архетипическую силу либидо, иррационально притягивает героя.

Кульминацией рассказа становится сцена в храме Мийокоджи (в тексте) (Мёко-дзи, Муоко-ji, старинный храм в Иокогаме, основанный в 814 г. изначально как буддистский храм школы Сингон) (Игнатович, 1988), куда Миури-сан приводит своего европейского возлюбленного для того, чтобы испросить у богов разрешение на союз с ним. Несмотря на то, что наш герой говорит по-японски, из всего сонма буддистских божеств он способен различить только трех, но и эти божества настроены против него: «Грозной гримасой встретил нас уродливый бог ветра (очевидно, Фудзин, яп. 風神. – В. Ю.). Лакированный ярко-красный бог войны (очевидно, Хатиман, яп. 八幡神, синтоистский бог войны, покровительствующий героям во время битвы. – В. Ю.) был готов ударить меня огромным мечом. Угрюмо и насмешливо улыбался бог землетрясений (очевидно, Такэмикадзути, яп. 建御雷 или 武甕槌. – В. Ю.). Все были настроены здесь против чужеземца – и боги, и монахи, и самые своды холодного внутри темного храма. Сверкала позолота украшений, блестел лакированный потолок с извивающимся по нему гигантским желто-красным драконом, матово блестели глазированные вазы и курильницы в рост человека.

И, когда крохотная дверь на улицу, на тепло и свет закрылась, когда могильный холод и полумрак охватили меня, я почувствовал почти ужас среди этих страшных масок, которые глядели на меня со всех сторон,

под этим бешено извивающимся драконом, который готов был ринуться на меня с потолка» (Лович, 2013, с. 21-22). Миури-сан «униженно» спросила у богов разрешения – и ответ был настолько ужасающ, что девушка убежала из храма вместе со своим профаном-возлюбленным. Герои расстаются безвозвратно.

Придомовое божество торжествует, и этой фразой замыкается стремительная развязка сюжета: «Вишне-вое кимоно мелькнуло в калитке и исчезло... навсегда для меня. Звякнула медная ручка калитки.

Насмешливо и зло ухмылялось лицо божка, искусно вырезанного на косяке калитки» (Лович, 2013, с. 23).

Итак, не европейская цивилизация встает на пути влюбленных, как в «колониальном романе» Пьера Лоти, не оппозиция «дикости» и «цивилизации», а «чужие боги» и неспособность героя-европейца постичь духовную природу культуры своей японской возлюбленной и глубинную встроенность самой героини в этнорелигиозную традицию.

Объединяющим началом для М. Щербакова и Я. Ловича является то, что оба автора побывали в Японии и прожили там продолжительное время. Кроме того, оба знали французский язык и были, по крайней мере, Лович – точно, знакомы с произведениями Пьера Лоти. Потому их рассказы содержат в себе компонент притяжения-отталкивания от «матрицы» колониального романа.

Начало 1930-х гг. не оставило в прозе дальневосточной эмиграции никакого следа в отношении восприятия Японии и японцев. Возможно, в эти годы харбинцы испытали глубокое разочарование от «предвестников культуры» и «порядка» в лице японцев, которых так ждали как альтернативу китайскому окружению. В 1931 г. происходит так называемый «Инцидент 18 сентября», положивший начало широкомасштабной японской оккупации Маньчжурии. В 1932 г. провозглашается создание марионеточного государства Маньчжоу-го (Ма Гаитянь, Чжан Шэн [马海天, 张生], 2022, с. 121-127), а в окрестностях Харбина, Синцзина и Чанчуня учреждаются страшные по своим замыслам и чудовищные по их исполнению «Отряд 731», «Отряд 100» (Лю Ян [刘扬], 2019, с. 121-122). В 1934 г. объявлено об организации БРЭМ (Бюро по делам русских эмигрантов), особые полномочия сотрудников которого должны были оказывать содействие японской администрации в решении эмигрантских вопросов (Аблова, 2005).

Лишь спустя 9 лет в харбинской печати появятся произведения, которые отразят совсем иную установку по отношению к Японии. Речь идет о рассказе «Поручик Тахакаси» Арсения Несмелова и рассказе «Самурай» Николая Байкова.

В 1937 г. начинается Китайско-японская война. Рассказы Несмелова и Байкова создаются в период наиболее острого давления со стороны японских властей на Китай (Забияко, Цзюй Куньи, 2022; Забияко, Ван Юйци, 2024), когда от диктата марионеточных властей и самих японцев большая часть харбинских писателей и простых жителей старается уберечься в Шанхае. Не обходит стороной японизация ни школьное образование, ни университетскую среду, ни литературную деятельность (Забияко, Цзюй Куньи, 2023).

Арсений Иванович Несмелов (2006, с. 642-659) (1889-1945) был знаком с японцами еще по Владивостоку, когда сотрудничал с ними в газете «Владиво-Ниппо» в 1920-1924 гг. После прихода японцев в Харбин он, очевидно, был настроен прояпонски (Буяков, 1994).

«Поручик Тахакаси» был опубликован в 1938 г. в прояпонском журнале «Луч Азии». Произведение нельзя назвать рассказом о Японии или японцах несмотря на то, что в его заглавие вынесена японская фамилия (совпадающая с фамилией генерал-лейтенанта ветеринарной службы Т. Тахакаси, работавшего в «Отряде 100», после войны признанного военным преступником и расстрелянного) (Хабаровский процесс).

Хронотоп рассказа – приблизительно 1919 г., Приморье, тайга, гражданская междоусобица в России, широкомасштабная интервенция стран Антанты в Сибири и на Дальнем Востоке (Японская интервенция..., 1934; Григорцевич, 1957). Отряд белых добровольцев вместе с японским отрядом охотится на красных партизан в Приморской тайге.

Итак, трикстером и резонером выступает в межкультурном диалоге не европеец, а японец. Японец свысока наблюдает за русской междоусобицей, дает оценки несостоятельности «русской идеи». Его вопросы касаются той самой «загадочной русской души». Бородача-командира «Игната Петровича (он из подпрапорщиков, коренной заамурец родом) эти вопросы обычно ставят в тупик» (Несмелов, 2006, с. 362). В отличие от японца, он родную литературу читал мало – равно так же мало читали ее и красные командиры, против которых он со своим отрядом так жестоко бьется. Белогвардейцы одерживают победу над партизанами в рассказе только благодаря военной хитрости Тахакаси и слаженной работе его «ниппонских» солдат.

Исторические документы свидетельствуют, что в период интервенции Япония, в отличие от других государств, ввела на территорию Дальнего Востока 11 дивизий из 21, участвующей в захвате российских территорий, в целом – 58 тысяч солдат (Гельман, 2023, с. 12-18). То, какие зверства творили японцы – одни и вместе с белогвардейскими отрядами на дальневосточных землях, – фиксируют исторические хроники тех лет.

Оправдать содержательное наполнение этого заказного прояпонского текста можно удаленностью исторических событий от «ситуации рассказывания» практически на два десятка лет. Возможно, когда-то в начале 1920-х гг. тот самый или другой Тахакаси, будучи еще поручиком, и представлял собой этакий тип культуртрегера-резонера, знающего русскую литературу и этнические нравственные ценности лучше самих русских. Ходульный образ японца в данном случае становится призмой, сквозь которую проявляется сложный образ самовосприятия Несмеловым русскости и русских, скепсис писателя-патриота по поводу родной истории и родной культуры (Забияко, 2016, с. 407).

В 1939 г. в Тяньцзине будет опубликован сборник Н. А. Байкова «У костра», состоящий из 33 очерков и рассказов, в числе которых рассказ «Самурай» (Байков, 1939, с. 221-229). Николай Аполлонович Байков –

натуралист, этнограф, воин-заамурец, воин-патриот – был участником Русско-японской войны (Забияко, 2016, с. 21-22). При этом он горячо приветствовал захват японцами Маньчжурии в начале 1930-х гг. и образование марионеточного государства Маньчжоу-го (Забияко, 2016, с. 263). В его рассказе во всей полноте находит свою реализацию та часть русского мифа, что представляет нам Японию как «страну самураев» (Молодяков, 1996). Безымянный герой рассказа попадает в плен к заамурцам уже на излете Русско-японской войны на территории Маньчжурии (в районе Нингуты – современная территория округа Муданьдзяна).

Лазутчик, переодетый в китайскую одежду, совершенно не скрывает своей задачи: «Я офицер японской армии. Командирован в тыл неприятеля с целью подорвать мост через реку Муданцзян. Вышел из Кореи месяц назад и был уже почти у цели, но китайцы меня подвели, открыв стрельбу раньше времени. Если бы не это, все русские были бы перебиты и я выполнил бы свою задачу и долг перед отечеством. Но судьба решила иначе. Китайцы изменили мне и бежали! Я тоже мог бы бежать с ними, но честь самурая не позволила сделать это. Я сражался до конца и, к сожалению, не убит, а только ранен. Я знаю свою участь! Как шпион я должен быть расстрелян. Это справедливо и так должно быть. Я умру за свою родину и нашего обожаемого императора и нисколько не сожалею об этом. Моя смерть принесет каплю счастья родине! <...> Я хочу, чтобы там знали, что я умер как самурай» (Байков, 1939, с. 225).

Детали портрета, речевая характеристика, поведенческие реакции японца рисуют нам образ благородного, честного, свято чтущего свой кодекс чести офицера-самурая. Его образ противопоставлен в рассказе китайцам – те обманывают русских при расспросах, потворствуют японцам, предают самого японца.

Несмотря на то, что рассказ посвящен японцу, и именно самураю, все же он не вызывает ощущения социального заказа. Аксиологический «центр тяжести» сконцентрирован в рассказе снова не на японцах, а на русских бойцах и их русском командире, автобиографическом рассказчике. Это он ведет себя благороднейшим образом по отношению к японцу, делает ему перевязки, выслушивает его просьбы и оказывает уважение как офицеру, а затем отдает воинские почести его могиле. Несмотря на надежды, возлагаемые японцами на Байкова, попытки встроить его в идеологическую линию строителей нового сознания Маньчжоу-го, сформировать «новое народное сознание» с ним, как и с Несмеловым, не увенчались успехом (Забияко, 2016, с. 263).

Гимн японцу-самураю, японской самоотверженной девушке и в целом японскому национальному характеру в прозаическом слове попытается воспеть Ф. Ф. Даниленко (1875 – после 1946), также участник Русско-японской и Первой мировой войн, живущий с 1918 г. в Харбине. Секретарь и библиотекарь Общества русских ориенталистов, один из основателей и преподавателей Института ориентальных и коммерческих наук (1925-1940), он защитил диссертацию по теме «Происхождение китайской культуры» (1940). В годы Великой Отечественной войны работал сотрудником 2-го отдела Японской военной миссии.

Рассказ Ф. Даниленко «Завещание лейтенанта» (1942) опубликован в годы начала японской агрессии в Тихом океане, после событий в Перл-Харборе (1941), усиления реваншистской риторики со стороны японской и прояпонской пропаганды в Харбине. Рассказ «Завещание лейтенанта» вобрал в свое идейное пространство все мыслимые и немыслимые положительные характеристики, касающиеся образа «идеального японца» (героя-камикадзе лейтенанта Иосимото, его товарищей по службе) и «идеальной японки» (главной героини Кимито Тосико, ее бабушки, упоминаемой супруги главного героя). Фабула рассказа проста: юная Кимито, скромная служащая, из газеты узнает об очередном подвиге героя-летчика, погибшего в Тихом океане, по фотографии она узнает своего возлюбленного, с которым рассталась в прошлом году. Пришедшие однополчане приносят Кимито прощальное письмо, из которого она узнает о его прекрасной душе и чистом чувстве. Пораженная до глубины души благородством и самоотверженностью погибшего, Кимито отдает половину денег, доставшихся ей по завещанию лейтенанта, своей доброй бабушке, а сама уходит помогать раненым и служить своему отечеству, решив пожертвовать вторую половину на нужды армии.

Экспозиция рассказа призвана ввести читателя в очаровательный мир японской семьи и ее ценностей: милая «Кимито Тосико, одетая в черное плюшевое пальто с фурсико (風呂敷, традиционный большой платок для переноски вещей) в руках, наполненным разными покупками» (Даниленко, 1942, с. 3), спешит со службы домой. Она несет домой со своим сестрам, братику, бабушке гостинцы, купленные на награды, надеясь всю остальную сумму передать бабушке. Сестры любят вышивать и рисовать, а бабушка готовить традиционные японские блюда (*скияки*, например, для которого девушка покупает «лучшее мясо»). Итак, героиня добра, щедра, заботлива, самоотверженно предана своей семье и ее традициям. У нее вдобавок ко всему пылкое сердце и присущее японской девушке умение не выдавать своих чувств. Это доказывает завязка сюжета: купив газету, Тосико узнает о том, что ее бывший возлюбленный Иосимото «покрыл себя славой»: «во время морского боя он вместе со своим бомбовозом стремительно обрушился на американский линейный корабль в сорок пять тысяч тонн и пустил его ко дну вместе со всем его экипажем» (Даниленко, 1942, с. 6).

Далее мы узнаем и о добродетельности Тосико. Оказывается, год назад она безоговорочно рассталась с Иосимото, едва узнав, что тот женат.

Даниленко выходит за рамки традиционного для русской культуры образа Японии как «страны гейш» – он концентрирует свое внимание на Японии как «стране самураев». Однако его герой-самурай – это довольно условный образ, центр смещен к женскому образу, идеалу, который ищет писатель – к «Дочери Страны восходящего солнца». Именно таким идеалом становится Кимито – мы не знаем, хороша ли она собой, она лишь соблюдает «девичью скромность» при встрече с героем. Но своим поступком, отказавшись от встреч, она побуждает писателя-романтика к военному подвигу и сама после его гибели отдает свою молодость и благосостояние на благо отечеству.

Появление такого текста из-под пера харбинского синолога, при этом прояпонского чиновника, свидетельствует о том, что начало 1940-х гг. в литературе дальневосточной эмиграции ознаменовано диктатом социально-политического заказа со стороны марионеточной администрации Маньчжоу-го. Победа мифа о Японии как «стране самураев» импонировала японцам и марионеточной администрации, при этом мало привлекала читающую эмигрантскую публику.

Заключение.

Таким образом, в результате исследования мы пришли к следующим выводам. Во-первых, литература дальневосточных эмигрантов в Китае практически не отразила межэтнических отношений с японцами, не запечатлела результатов глубокого проникновения русских эмигрантов в японский характер и японский быт.

Во-вторых, единичные примеры проанализированных произведений иллюстрируют, с одной стороны, стремление обратиться к рефлексии Японии и японцев самых даровитых писателей. С другой стороны – их осторожное отношение к этой теме, балансирование на грани культурных стереотипов и погружения в мир собственной этничности, религиозности и психологии как ухода, «умолчания». Наиболее продуктивным периодом рецепции Японии и японцев в прозе дальневосточной эмиграции становится период 1920-1932 гг., когда японское присутствие в культурной и бытовой жизни Харбина было подспудным и продуцировало интерес к постижению японской этнической традиции, верований и бытовых реалий. С приходом к власти марионеточного правительства Маньчжоу-го в 1932 г. усиливается социально-политический заказ на произведения прояпонской тематики, но прозаики-эмигранты, даже сочувствующие Японии, в «японских» текстах обращаются к познанию собственной этничности в исторической перспективе взаимодействия русских и японцев (А. Несмелов, Н. Байков). Период наиболее интенсивной японской культурной экспансии в Харбине (1937-1945 гг.) отмечен всего одним произведением пропагандистской направленности (Ф. Даниленко), целиком построенным на клише о доблестных японцах и идеальных японках. Таким образом, социально-политический заказ со стороны прояпонской администрации приводит к деградации имагологического интереса к Японии, японской культуре и японским традициям в прозе дальневосточной эмиграции.

Складывается впечатление, что русским писателям было проще «не замечать» Японию и не углубляться в рефлексию тех представителей этой страны, кто находился с ними бок-о-бок на харбинских улицах.

На наш взгляд, дальнейшее исследование харбинской публицистики, лирических произведений, обращенных к художественной рецепции Японии и японцев, позволит выявить основные средства и приемы восприятия Страны восходящего солнца русскими эмигрантами и сделать более объективные выводы о том, как в литературном процессе русского Китая находили отражение новая русско-японская реальность и факт существования Маньчжоу-го – прояпонского марионеточного государства на территории Маньчжурии.

Материалы исследования | Research materials

1. Байков Н. А. У костра. Тяньцзин: Наше Знание, 1939.
2. Даниленко Ф. Ф. Завещание лейтенанта. Харбин: Агентство «Ниссо», 1942.
3. Лалетина Н. Н. Японцы. Огре, 2016.
4. Лович Я. Л. Покорность. Рассказ о женщине в вишневом кимоно // Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: хрестоматия: в 4 т. / сост., общ. ред. А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. Т. 1. Проза: в 3 ч. Ч. 2
5. Лоти П. Госпожа Хризантема. Роман одного саги. М.: Конкорд ЛТД, 1992.
6. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. М.: Советская Энциклопедия, 1991. Т. 1
7. Несмелов А. И. Собрание сочинений: в 2 т. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2006. Т. 2.
8. Пермьяков Г. Г. Император Пуи. Пять лет вместе: мемуары // Рубеж. 2003. № 4.
9. Пермьяков Г. Г. Отряд 731: документальная повесть // Рубеж. 2004. № 5.
10. Тема Японии и японцев на страницах журнала «Рубеж»: опись // Центр изучения дальневосточной эмиграции: официальный сайт. <https://emigrant.amursu.ru/fondy/20408/>
11. Шкуркин П. В. К коронационным торжествам в Японии // Вестник Азии. 1916. № 37.
12. Шкуркин П. В. Японо-китайский конфликт // Вестник Азии. 1915. № 34.
13. Щербаков М. В. Ирибари // Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: хрестоматия: в 4 т. / сост., общ. ред. А. А. Забияко, Г. В. Эфендиевой. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. Т. 1. Проза: в 3 ч. Ч. 3.
14. Японская интервенция в документах. 1918-1922 гг. / подг. к печати И. Минц. М., 1934.

Источники | References

1. Аблова Н. Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международные и политические аспекты истории (первая половина XX в.). М.: Русская панорама, 2005.
2. Агеносов В. В. Категории «свое/чужое» как выражение национальной идентичности в поэтическом сознании русских эмигрантов // Россия и Китай на дальневосточных рубежах / отв. ред. А. П. Забияко. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2006. Вып. 7. Мост через Амур.

3. Агеносов В. В. Литература русского зарубежья (1918–1996). М.: Терра спорт, 1998.
4. Алпатов В. М. Образ Японии в России (1850–1945). М.: Изд-во РАН, 2017.
5. Анучин Д. Н. Япония и японцы. Географический, антропологический и этнографический очерк. М., 1907.
6. Буюков А. Русский поэт и фашист. Вырванные страницы из биографии Арсения Несмелова // Владивосток. 1994. 3 марта.
7. Венюков М. И. Обзорение японского архипелага в современном его состоянии: в 2 ч. СПб.: Скоропечатня Ю. О. Шрейера, 1871. Ч. 1–2.
8. Воейков А. Е. Очерки из путешествия по Индии и Японии. СПб.: Имп. рус. геогр. о-во, 1878.
9. Воллан Г. де. В Стране восходящего солнца. Очерки и заметки о Японии. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1903.
10. Вонсович И. И. Три сокровища Японии. Священная легенда // Вестник Азии. 1916. № 37.
11. Гельман В. А. Японская интервенция на Дальнем Востоке России // Вестник Бурятского государственного университета. Серия: Гуманитарные Исследования Внутренней Азии. 2023. № 1. <https://doi.org/10.18101/2305-753X-2023-1-12-19>
12. Гончаренко О. Г. Русский Харбин. М.: Вече, 2009.
13. Григорцевич С. Американская и японская интервенция на советском Дальнем Востоке и ее разгром (1918–1922 гг.). М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1957.
14. Забияко А. П. Категории «свой» – «чужой» в этническом сознании // Россия и Китай на дальневосточных рубежах / ред. Д. П. Болотин, А. П. Герасименко, Ан. П. Деревянко и др. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2003. Вып. 5
15. Забияко А. А. Ментальность дальневосточного фронта: культура и литература русского Харбина. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2016.
16. Забияко А. А., Ван Юйци. Образ восприятия японцев и Японии в дореволюционном опыте художественной рефлексии: жанрологический аспект // Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17. № 1.
17. Забияко А. П., Ван Юйци. Японские культовые постройки на Северо-Востоке Китая первой половины XX в.: от религиозного присутствия к религиозному доминированию // Религиоведение. 2024. № 3.
18. Забияко А. А., Сенина Е. В. Русские и китайцы: образы взаимного восприятия в литературе. М.: Издательский дом ВКН, 2025.
19. Забияко А. А., Цзюй Кунь. Рассказы о «харбинских дедушках»: китайская модель создания «харбинского текста» несказочной прозы // Традиционная культура. 2023. Т. 24. № 1.
20. Забияко А. А., Цзюй Кунь. Сюжет о Николае Угоднике в фольклорных текстах жителей Харбина // Религиоведение. 2022. № 1.
21. Землянская К. А. Образ восприятия Японии и японцев в раннем творчестве В. Марта // Русская классическая и неклассическая литература: текст, контекст, рецепция: в 2 ч. / под ред. Т. Г. Кучиной, А. С. Бокарева, М. Ю. Егорова, Н. Ю. Букаревой. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2024. Ч. 2.
22. Игнатович А. Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.: Наука, 1988.
23. Кириллова Е. О. Японские образы в творчестве дальневосточных писателей. Рассказ М. В. Щербакова «Иринари» // Материалы XXXIII Российско-японского симпозиума историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония), Владивосток, 31 августа – 1 сентября 2018 года. Владивосток: Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2018.
24. Краснов А. Н. Чайные округа субтропических областей Азии. Культурно-географические очерки Дальнего Востока: в 2 ч. СПб.: Тип. Глав. упр. уделов, 1897–1898. Ч. 1–2.
25. Луков В. А. Имагология: тезаурусные расширения // Имагологические аспекты русской и зарубежных литератур / отв. ред. О. Ю. Поляков. Киров, 2012.
26. Лю Ян. Предварительное исследование взаимоотношений между отрядом 100 и отрядом 731 японских захватчиков в Китае // Академическая теория. 2019. № 5 = 刘扬. 侵华日军100部队与731部队关系初探 // 学理论. 2019. № 5.
27. Ма Гаитянь, Чжан Шэн. Япония признала марионеточное государство Маньчжоу-Го после инцидента 18 сентября. Наньцзин: Изд-во Шилинь, 2022 = 马海天, 张生. 九一八事变后日本承认伪满洲国与各方因应. 南京: 史林, 2022.
28. Мацокин Н. П. Граф Окума и японское самомнение // Вестник Азии. 1914. № 28.
29. Мацокин Н. П. Особенности японского характера, как они проявились во время похорон императора Мейдзи Тонно // Вестник Азии. 1913. № 13.
30. Мелихов Г. В. Белый Харбин: середина 20-х. М.: Русский путь, 2003.
31. Мелихов Г. В. Страница истории. Памятник Тюрэйто в Харбине // Общество в диаспоре: его структура и отношения с властью (преимущественно на основе материалов Бюро по делам российских эмигрантов Маньчжоу-Го). Б. м., 2009.
32. Молодяков В. Э. «Образ Японии» в Европе и России второй половины XIX – начала XX века. М.: Ин-т востоковедения, 1996.
33. Полански П. Русская печать в Китае, Японии и Корее: каталог собрания Библиотеки имени Гамильтона Гавайского университета. М.: Пашков дом, 2002.
34. Роднянская И. Б. Образ // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2001.
35. Суемацу К. Сущность бусидо / пер. Н. П. Мацокин // Вестник Азии. 1914. № 30.

36. Хисамутдинов А. А. Русские ученые, краеведы и востоковеды в Китае. Материалы к иллюстрированным биографиям. Владивосток, 2018.
37. Шкуркин, П. В. К коронационным торжествам в Японии // Вестник Азии. 1916. № 37.
38. Шкуркин П. В. Японо-китайский конфликт // Вестник Азии. 1915. № 34.
39. Эпштейн М. Н. Образ художественный // Литературный энциклопедический словарь / под ред. В. М. Коженикова, П. А. Николаева. М.: Советская энциклопедия, 1987.
40. Эфендиева Г. В. Проблема этнической идентификации поэтов эмигрантов русского Харбина // Русский язык за рубежом. 2011. № 1 (224).
41. Эфендиева Г. В. Рецепция женского творчества в культурном сознании дальневосточной эмиграции // Русский Харбин, запечатленный в слове. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2006. Вып. 1.
42. Япония и ее обитатели. СПб.: Тип. АО «Брокгауз-Ефрон», 1904.
43. Pageaux D.-H. Une perspective d'études en littérature comparée: l'imagerie Culturelle // Synthesis. 1981. Vol. 8.
44. Wolff D., Kotkin S. Rediscovering Russia in Asia. Armonk, 1995.

Информация об авторах | Author information



Ван Юйци¹

¹ Амурский государственный университет, г. Благовещенск



Yuqi Wang¹

¹ Amur State University, Blagoveshchensk

¹ ivan_yuytsi@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 21.07.2025; опубликовано online (published online): 04.09.2025.

Ключевые слова (keywords): художественная рецепция Японии и японцев; дальневосточная эмиграция; социально-политический заказ; образы-клише; этническая традиция; literary reception of Japan and the Japanese; Far Eastern émigré community; socio-political demand; stereotypical images; ethnic tradition.